

Николай
Самвелян

век

наиб-

ности

Николай Григорьевич Самвелян

ВЕК НАИВНОСТИ

М., «Советский писатель», 1986, 560 стр.
План выпуска 1986 г. № 132.

Редактор *Е. В. Леонова*
Худож. редактор *Е. Ф. Капустин*
Техн. редактор *Н. Н. Талько*
Корректоры *Т. В. Малышева, Р. Г. Рагимова*

ИБ № 5504

Сдано в набор 10.09.85. Подписано и печати 17.02.86.
А 03346. Формат 60×90^{1/16}. Бумага типографская № 2.
Школьная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 35.
Уч.-изд. л. 37,56. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1602.
Цена 2 р. 60 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель».
121089, Москва, ул. Воровского, 11

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Крас-
ного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени
А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28

Николай
Самвелян

век

наш-

ности

ПОВЕСТИ

МОСКВА
советский
писатель
1986

Художник *Александр ЮЛИКОВ*

Самвелян Н. Г.

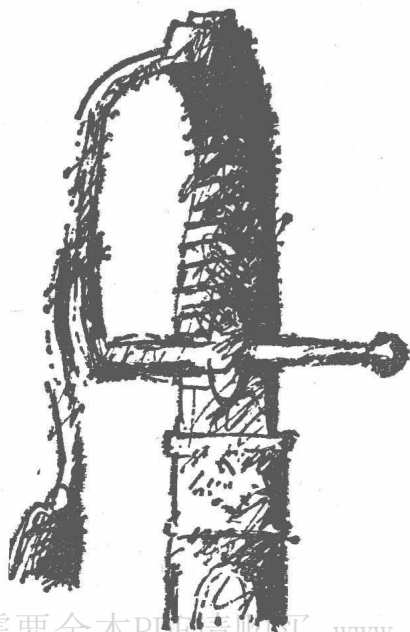
С17 Век наивности: Повести.— М.: Советский писатель, 1986.—560 с.

В книгу Николая Самвеляна вошли исторические повести «Альпийский эдельвейс», «Семь ошибок, включая ошибку автора», «Крымская повесть» Острые нравственно-этические проблемы современности поднимают повести «Счастливычи Пенция», «Век наивности», «Дед боксера», «Серебряное горло».

С $\frac{4702010200-099}{083(02)-86}$ 132—86

ББК 84.Р7

альпийский
Эдельвейс



ЧАСТЬ 1

Не знаю, был ли это всего лишь причудливый утренний сон, а может, и не сон вовсе — скорее какая-то минута грезы или ясновидения, когда многое вдруг представилось четко, пугающе резко. Даже то, что я мог знать лишь по старым книгам, не более того. В общем, и не понять, и не объяснить, что за минута такая меня посетила, но зазвучала музыка и стали отчетливо слышны слова, произносимые на разных языках. Громыкала канонада, и гордо шелестели знамена — те самые знамена, которые, как я понимал, давно уже были унесены своими знаменосцами туда, откуда нет возврата... Горели свечи в канделябрах, сверкали люстры и отражались в натертом воском полу... Закрывая от восторга глаза и вслушиваясь в звуки собственного голоса, пел серенаду венецианский гондольер, и, кашляя от книжной пыли, плакал престарелый Джакомо Казанова — будто бы вольнодумец и авантюрист, будто бы бретер и ловелас. Плакал от бессилия и обиды за самого себя. Только что он не смог поднять с полу пачку книг — ослабел. Значит, вскоре богемскому вельможе уже не понадобятся услуги библиотекаря Казановы. Плакал он еще и потому, что лучше, чем кто-либо, знал — те мемуары, над которыми он так старательно трудился, вымышленны. Хотелось Казанове видеть себя неотразимым сердцеедом, человеком, свободным от условностей, легким в поступках и мнениях — представил и вроде бы сам себе поверил. Но бывали, и частенько, минуты другие — когда старик Джакомо видел себя скучным неудачником, забывающимся в фантазиях.

...Неслись эскадроны, и стремились прочь от городов и больших дорог, по которым двигались войска, повозки беженцев. И лихо, победно пели походные трубы...

...Станный человек с очень знакомым, но одновременно и легко забываемым, похожим на многие лицом — что-то говорил, говорил, слушая лишь себя самого, не интересуясь, понял ли его собеседник, — этот странный человек с през-

ливой гримасой скреб ногтями ладони, хмурился, кривил губы, гримасничал...

...Пели трубы, и с жалобными криками летели прочь от пожаров и дымного неба птицы — куда-то далеко, где звук походных труб не был слышен.

И виделись кровавые закаты над большим и ухоженным городом, раскинувшимся на берегах широкой реки, и другие закаты — над другим городом, тоже огромным и державным, выстроенным на берегах другой реки, еще более широкой...

...А где-то далеко, южнее, по раскисшей, разбитой колесами дороге мчала повозка по направлению к помещицкой усадьбе. На повороте сбила человека. Не остановилась — то ли не заметили путника, то ли спешили. Человек поднялся, отыскал в грязи свою барашковую шапку, посмотрел вслед повозке и сказал: «Да чтоб тебя чума сожрала! И твоих коней тоже!»

Мчали эскадроны, и шли по дорогам беженцы, улетали птицы...

...В комнате было уже светло. Этажом выше какой-то любитель ритмической музыки вставил в магнитофон очередную кассету. На письменном столе лежал сложенный вчетверо голубоватый лист бумаги. Я знал, что на нем написано. Но захотел прочитать еще раз. Поднялся, развернул лист.

«...Мой фрегат «Пчела», крейсируя в Средиземном море, берегая русские торговые суда от пиратов, зашел в Тулон. Когда я, тогда еще 27-летний лейтенант, сошел на берег, меня встретил молодой поручик, офицер гарнизона, и предложил свои услуги в роли гида. Он был подчеркнuto вежлив, бегло говорил по-французски, но с каким-то неуловимым акцентом, — возможно, гасконским или же марсельским. Несмотря на юные годы, был весьма развит в области военных наук и, как можно было судить, честолюбив.

— Рад приветствовать вас на берегу. Разрешите, месье, показать вам укрепления тулонского порта.

— Сделайте милость. Но чем обязан?

— Меня всегда притягивали к себе русские. Россия — это ведь так далеко и загадочно!

— Только не для самих русских. Нам в России все близко и понятно.

Поручик улыбнулся и сделал поклон. Прощаясь, он решил в знак расположения подарить мне две камышовые трости, но у него не хватило денег на покупку. Оказавшись в конфузе перед уличным торговцем, он гневно топнул ногой и залился румянцем. Не желая далее смущать поручика, я сам уплатил за «подарок».

Так я впервые увидел Буонапарте. Время показало, что его слишком притягивала Россия. Из маленького поручика

вырос узурпатор. Вскоре мне пришлось с ним сражаться. И если бы я ничего более в жизни не совершил, кроме как противодействовал умыслам Буонапарте и защищал Отечество в годину трудную, то и тогда не зря пришел бы в этот мир...

*Из дневниковых записей
русского адмирала С. Пустошкина».*

Мой приятель, время от времени снимавшийся в фильмах, пришел вчера поговорить о новой роли. Он был человеком солидным, серьезным, не любившим спешки и импровизации. Порою ему это сильно вредило. Но он не сдавался и к новой роли готовился так фундаментально, что иногда сам себя парализовал избыточными знаниями.

— Предложили сыграть суворовского солдата. Внешне непримечательная роль. Но хочу ее наполнить, оживить. Разгадать бы, какие сложные материи стояли за простой по сюжету жизнью. Вот и сделал выписку из дневников Пустошкина. Потрясающая фраза: «Не желая далее смущать поручика, я сам уплатил за «подарок». Интересно, сам Бонапарт помнил эту сцену и мстил за нее людям или же постарался забыть? И то, и другое, думаю, было в его характере. А вот еще: «Поручик улыбнулся и сделал поклон». И фатовство, и любовь к позе — все налицо. Отсюда и неуважение к жизни миллионов, которых он бросал в сражения. Но разгадать бы, что думал в те времена обычный солдат. Нашел я еще одну вещичку. Говорят, тех времен. Серебряный цветок эдельвейс. Сделан каким-то умельцем из обычной монетки...

Приятель убежал работать над ролью, забыв на столе листок бумаги и серебряный рукотворный цветок.

Верхнеэтажному соседу надоела ритмическая музыка. Он включил другую — спокойную и праздную, предлагающую забыться, уплыть от будней в какой-то вечный праздник, где одна добрая мелодия сменяет другую, удавы любят кроликов, а розы цветут даже в январе.

За окном, у бензозаправочной станции, дергались, норвили клюнуть друг друга машины — спешили заправиться. Их было много — совершенно одинаковых, различаемых только по покраске.

Позвонил приятелю, который забыл у меня выписку из дневника адмирала и серебряную безделушку. Тот был спокоен. «Помню, забегу как-нибудь, сейчас спешу на репетицию». Этот торопливый голос отрезвлял. Может быть, и не было серенад над венецианскими каналами и грозного пения походных труб, не спешили подальше от городов повозки, переполненные напуганными, сразу же ставшими лишними, даже самим себе ненужными людьми, может быть, наконец, то, что ушло, — ушло навсегда и не должно возвращаться даже в предутренних снах? Кто это знает и кто ответит? Но

раз вернулось, значит, вернулось почему-то, предупреждая: взглядываясь в себя, вспомните и о нас.

С верхнего этажа, а казалось, что прямо со звучащего потолка, лилась, заполняла комнату ласковая музыка. И была она как наркотик, как опьянение. Ее хотелось слушать, но еще больше хотелось отогнать ее или же самому бежать от нее.

Но лежал на столе серебряный эдельвейс — трогательно беззащитный, скромный, но в то же время удивительно самостоятельный. Он пришел в этот мир, ни у кого не испрашивая разрешения ни на свой приход, ни на свое дальнейшее существование.

И опять пришла эта минута грезы, всплыли из темноты знакомые и незнакомые лица, зазвучали давно кем-то произнесенные слова — в комнату ворвалась другая жизнь, но почти столь же реальная, как та, что вершила себя за окном.

Славить Палладу-Афину, оплот городов, начинаю,
Страшную. Любит она, как и Арес, военное дело,
Яростный воинов крик, городов разрушение и войны.
Ею хранится народ, на сражение ль идет, из сражения ль.

Один из гимнов Гомера

ВЕНА, МАРТ 1799-го

Если верить молве, то последний год каждого столетия чреват неожиданностями. Во всяком случае, их ждут. Случалось, конечно, что один век сменял другой буднично и за трапезно — без фейерверков и канонад. Люди с вечера ложились спать в одном веке, а просыпались уже в другом. Однако надо отдать справедливость и молве: чаще бывало иначе. Всем еще было памятно, как в канун XVIII века шведский король начал очередную войну на севере Европы, которая позднее закончилась оглушительной оплеухой для маленькой, но долгое время ходившей в непобедимых Швеции.

— Да в том-то и дело! — твердил своим слушателям человек в серой замшевой куртке и тирольской шляпе с пером. — В том-то и секрет, что на отчаянные поступки может решиться либо пророк, либо дурак. Первый — в полной уверенности, что способен переубедить все человечество, второй — от наивного непонимания, во что он вторгается. Но покуда дурака отличишь от пророка, сколько воды утечет! И благо бы только воды! Она хотя бы пользу творит — мельничные жернова вертит. Хуже, когда льются реки крови. Поглядите на те облака, что надвигаются с запада. Их форма необычна. В одном из них мне видится гигантский колпак. Он растет и скоро станет размером с Монблан. Это — фригийский колпак французской революции. И недалек час, когда густая тень его падет на всю Европу. А может быть, не только на Европу, но и на весь мир. Вы думаете, Земля наша так уж велика? Ошибаетесь! Хотите — верьте, хотите — нет: скоро появятся паровые дилижансы, а тогда из Вены в Буду или Пешт будет рукой подать. Тесно на Земле! Очень тесно! Тесно людям, тесно империям. И если возникнет еще одна, остальные не станут расступаться, чтобы дать ей место. Начнется вселенская свалка, в которой многие найдут свою могилу. Уж не полагаете ли вы, что генерал Буонапарте отправился в Египет измерять пирамиды? Как бы не так! Ему нужны чужие богатства и собственные победы. Ведь звук фанфар всегда заглушает вежливый голос разума. Да и вообще разум и Буонапарте — несовместимы. Помяните мое слово: эта революция породит империю. А во главе ее верхом на фригийском колпаке воссядет, скрестив

коротенькие ножки, генерал Буонапарте... Вот чего мы все боимся. Вот почему наступление нового века кажется нам концом света. А дело-то еще проще простого: никому из нас, даже сегодняшнему младенцу, уже не суждено пережить новый век. Сто с лишним лет многовато для земной юдоли и слишком мало для царства небесного.

Оратором в замшевой куртке был известный в Вене писатель Альфред Гормайр, тиролоец по происхождению, забияка и бретер по призванию, способный с утра написать пафосный памфлет против французов, в полдень обменяться за городом пулями с кем-нибудь из почитателей Бонапарта, а после обеда устроить нечаянный митинг на одной из венских улиц. Сейчас Гормайр витийствовал на площади подле музея Альбертина, названного так в честь герцога Альберта, прославившегося не ратными подвигами, а любовью к музам.

— Но кто помнит сегодня о музах, если гремят пушки? — вопрошал Гормайр, указывая на лепной фасад Альбертины. — Кому нужны стихи и звуки лютни, если горы сотрясаются от канонады! Когда от рева военных труб рушатся снежники, музыка всегда умолкает. Я — поэт. Но сегодня — прочь перо! Пусть летит в камин бумага! Пусть сыплются в пыль драгоценные рифмы! Я сам готов топтать их подошвами вот этих сапог. И буду делать это с наслаждением.

Внимала Гормайру публика весьма разношерстная — городские бродяги и граждане вполне respectable. Одни — уходили, другие — подходили. А коренастый человек с густой гривой волос, спадающей на шелковый плащ, слушал все это с легким оттенком брезгливости. В его глазах пряталась тоска. И это была тяжелая тоска. Человек в плаще понимал, что Гормайр суетен, истеричен, жаждет ежеминутного самовыражения. Может быть, он даже готов ни за что ни про что, просто от скуки взойти на плаху, только бы обратить на себя внимание. И в этом Гормайр в чем-то был схож с местной знаменитостью — гадалкой Анджеликой, венецианкой по рождению, но уже давно живущей в Вене. По слухам, Анджелика, так же как прославленный доктор Франц Месмер, умела чуть ли не со смертного одра поднимать больных с помощью «животного магнетизма». В «животный магнетизм» человек в плаще не верил, как, впрочем, и в дьявола, черных кошек, загробную жизнь, заговоры и заклинания. Можно было допустить, что он сомневался и в существовании господ, ибо однажды произнес, а затем написал на полях одной из своих партитур: «Пусть бог помогает дуракам. Человек! Помоги себе сам!» Крики Гормайра о том, что нечестивца Бонапарта покарают небеса, казались ему пафосной клоунадой, чем-то вроде заклинаний Анджелики.

А заклинания эти были настолько шумны, что простодушных ошарашивали и убеждали, а тех, кто поумнее, при-

водили в недоумение. Но Анджелике многое прощалось. Наверное, потому, что она молода, а ее черные, тщательно мытые ромашкой волосы красиво спадали на далеко не худшие в Вене плечи. Кроме того, заклинительницу отличали стремительные, исполненные какого-то особого изящества жесты — выразительные и точные. Будто пустилась в пляс ожившая статуэтка резца самого Челлини. А еще у Анджелики во взгляде была «сумасшедшинка» — отблеск огня кузни дьявола, что тоже придавало облику гадалки мрачноватую загадочность. В Анджелику верили. К ней ходили попросить о заступничестве перед судьбой, узнать, что готовит завтрашний день. Говорили, будто Анджелику вызывали даже в императорский дворец Хохбург, во что, естественно, не следовало верить, но почему-то верилось. Вена в последнее время вообще была полна всяческих слухов — один нелепее другого.

— Теперь небо над Веной по вечерам всегда багровое! — вещал Гормайр. — Вспомните: бывало ли когда-нибудь подобное? Знамение — предупреждаю вас — знамение грядущих бед!

Человек в черном плаще резко повернулся и пошел прочь по направлению к церкви святого Августина, где в скорбном одиночестве застыл памятник дочери императрицы Марии-Терезии, Христины, — работы несравненного Кановы. И вот о дочери прославившейся своей экстравагантностью королевы никто и не вспоминал, зато каждому гостю Вены спешили показать работу Кановы, как бы невзначай добавив при этом, что сам скульптор считал памятник вершиной своего творчества. А человек в плаще улыбнулся, представив себе на месте Христины Анджелику. Это было бы эффектнее.

Звали человека в плаще Людвигом ван Бетховеном. Он был входившим в моду композитором. Голландец по происхождению, он стал истинным венцем и любил этот город. Он приехал сюда ровно через год после смерти Моцарта, то есть ровно семь лет назад. А семь, как известно, число магическое. Как утверждал все тот же прославленный врач Месмер, умевший одним прикосновением руки снять головную боль, через каждые семь лет в человеке как бы обновляется кровь и мозг, а следовательно, и сам человек становится иным. Потому при переезде с севера на юг, из одного города в другой важны, да и опасны лишь первые семь лет, по благополучном истечении которых — если оно вправду будет благополучным! — можно уже считать себя коренным жителем. Но Бетховену не нужны были годы для привыкания к Вене. Он здесь с первого дня почувствовал себя своим и уже не мыслил жизни в иных краях.

А над городом все еще пылал алый, тревожный закат. Он отражался в окнах Хохбурга. И казалось, что дворец горит изнутри. В этом Бетховену виделось предзнаменование —

молодой Бонапарт скоро вернется из Египта и заставит заиграть по всей Европе бунтарскую «Марсельезу». Правда, сейчас к Вене приближаются русские войска, а на минувшей неделе прибыл фельдмаршал Суворов — человек, который, как утверждал Гормайр, в жизни не проиграл ни одного сражения. О Суворове Бетховен слышал мало. Знал лишь, что фельдмаршал немолод, но, как говорят, неутомим, решителен, смел. Некогда он был при дворе в фаворе, но при новом российском императоре Павле оказался в немилости. Не без нажима со стороны Вены сейчас прощен и назначен главнокомандующим союзными войсками в Италии.

В небе за Дунаем пылали опаленные закатом облака. И на их фоне собор святого Стефана гляделся как гигантский предостерегающий перст. Сто лет его строили. Но выстроили на славу. Высится он над Веной, бережет ее от напастей. Ведь именно здесь, под Веной, остановили некогда турок. И не хлынули они на Европу, откатились назад к Стамбулу — украденному у греков Константинополю. Но спасена ли Вена навеки? Все ведь смертно. И люди, и города. Исчезла, стерта с лица земли дерзновенная Троя. Спят в дальних песках развалины Карфагена, мнившего себя самым богатым и просвещенным городом мира.

Почему сегодня тревожно вспыхнуло небо над Веной? К чему бы? Случайность или предзнаменование? Но, может быть, именно из-за пылающего неба эта тщательно выстроенная, уверенная в себе столица, чем-то напоминающая чванливого человека, который ведет себя так, будто знает какую-то важную тайну, но не намерен никому ее сообщать, вдруг как-то потерялась и сникла. Словно ее припугнули, топнули на нее ногой. Даже тучные бюргеры теперь пробирались к своим домам на цыпочках, и все реже по вечерам мчали по гулкой брусчатке экипажи. Их владельцы предпочитали отсиживаться дома.

Да, Вена приутихла. Что-то ее напугало. Уж не огонь ли парижских событий, который по вечерам озаряет теперь небо? Закат вправду был злым, ядовитым, дразнящим, как плохо выкрашенный и вылинявший на солнце турецкий атлас, время от времени постулавший на европейские рынки.

К Дунаю вел пологий глинистый откос. Река, обычно желтая, в эти минуты была бордовой. Таким же бордовым был треугольник паруса у дальнего берега. Дожнуло мартовской влагой и запахом прели. Весна. Лучшее время для работы. День становится длиннее, и кажется, что впереди нескончаемая жизнь.

Но сейчас шла война. И люди гибли сразу на четырех континентах — в Европе, Азии, Африке и Америке. Все пришло в движение. И конец мира, во всяком случае мира в том виде, в каком он существовал доньше, уже не казался всего

лишь выдумкой пугливых мистиков. Что-то на земле должно было измениться. И кто знает, в лучшую ли сторону?

Вдруг маячивший вдали парус-треугольник накренился, и через минуту в лицо ударил порыв тугого ветра. Придерживая одной рукой полы плаща, а второй — шляпу, Бетховен направился к усаженным каштанами старым городским валам.

Небо наконец погасло. Тьма быстро опустилась на город — точно на окне шторы задернули. Лишь подле здания ратуши и у фонтана, оставленного для услаждения взглядов будущих поколений прекрасным скульптором Рафаэлем Доннером, который мог стать столь же славным, сколь и Канова, если бы побольше удачливости, уже горели фонари. Пустынные были улицы. Прохожие случайными тенями скользили мимо темных окон. И, может быть, даже радовались тому, что во мраке не видно их растерянных лиц и взглядов, которые выдавали единственное желание — поскорее добраться домой и захлопнуть дверь от шумного и тревожного мира.

А три дня назад здесь все было иначе. Слепила глаза иллюминация. Вечером было так же светло, как днем. Народ кричал: «Виват Суворов! Долой французов!» Толпа была счастлива, как бывает счастливой в минуты, когда ей не только не запрещают шумное проявление чувств, но даже побуждают к этому.

Сам Суворов — пугающе худенький — ехал в сопровождении первого министра барона Тугута. Барон был не ахти каким ездоком. Лошадь под ним умудрилась споткнуться даже на ровной площадке перед Хохбургом. А Хохбург как-никак все же королевский дворец. И спотыкаться перед ним даже лошадям не подобало. В общем, все вышло как-то не так, неловко и даже нелепо, чего и боялся Тугут. Но что было делать барону, если Суворов, только что произведенный императором Францем-Иосифом в австрийские фельдмаршалы, от экипажа отказался. Из уважения к прихоти прославленного полководца Тугуту пришлось поместить себя в седло, хотя он отлично знал, что это повлечет за собой бессонную ночь.

Бетховен морщился, когда ему рассказывали о чьих бы то ни было воинских доблестях, ибо считал, что разумный человек не может гордиться убийством себе подобных. И римского императора Марка Аврелия, умершего, кстати, в Вене, почитал вовсе не за успешные походы, а за то, что Аврелий понимал, сколь бессмысленны войны, и лучшие часы своей жизни посвятил философии и искусству. Да еще размышлениям о том, необходима ли вообще императорская власть, которой его облекли, и смогут ли когда-то люди выяснять свои взаимоотношения без помощи оружия. Так и не придя ни к какому четкому заключению, Марк Аврелий, когда

пришло его время, удалился из этого мира, оставив потомкам массу загадок, в том числе и самую главную — насколько искренним был он сам, Марк Аврелий, одной рукой обнажая меч, а второй хватаясь за перо, чтобы доказать, что левая вправду не знала, что творит правая.

И вообще даю ли кому-то разгадать этих полумыслителей-полувоистителей, которые на манер Цезаря пытаются остаться в истории сразу в двух ипостасях... Когда князь Лихновский сказал Бетховену, что непобедимый Суворов, возможно, один из самых оригинальных умов эпохи, человек разносторонне одаренный, но в силу необходимости зачастую вынужденный не открывать своих подлинных мыслей, композитор промолчал: не то чтобы он не верил князю, но полагал, что людям свойственно выдавать желаемое за действительное. А князь Лихновский, несмотря на случающиеся с ним порой приступы якобинских настроений, все же отлично понимал, что его благополучие зависит от того, не замахнется ли Бонапарт не только на Италию, но и на саму Вену. И потому Лихновскому конечно же хотелось, чтобы прибывший с севера Суворов слегка припугнул французов, а по возможности и самого Бонапарта — врага сибаритства, роскоши и дворцов. Но как же Лихновскому без дворца? Князю в мире широком и делать вроде бы нечего. Ему нужны стены гостиных и залов. И в глубине души Бетховен вовсе не приветствовал прибытие в Вену непобедимого Суворова. Двум непобедимым на земле тесно. Так кто кого: Бонапарт — Суворова или Суворов — Бонапарта?

Симпатии композитора были на стороне корсиканца. И все же маленький фельдмаршал, бодро ехавший сквозь толпу и мирно, даже застенчиво улыбавшийся венцам, показался Бетховену человеком загадочным и в чем-то неожиданным. Такого увидишь — на всю жизнь запомнишь. То ли из-за наивной, почти детской улыбки, которой фельдмаршал щедро одаривал каждого, то ли из-за отсутствия горделивого кокетства в седле, с которым не может расстаться ни один из хороших наездников. А фельдмаршал ехал сквозь толпу — и все тут. Просто и буднично. Говорили, что, поместившись в доме российского посланника графа Разумовского, Суворов приказал вынести из покоев мягкие кресла и зеркала. Вместо кресел велел поставить камышовые стулья. Кроме того, фельдмаршал тут же распахнул окна, чем привел в смятение лакеев, боявшихся мартовских сквозняков. Но Суворов заявил, что ему, старому солдату, и сами лакеи ни к чему. Кстати, спать фельдмаршал вознамерился не на кровати, а на полу. И попросил вместо тюфяка принести мешок сухого сена. Но как знать, не поза ли это? Не кокетничанье ли прославленного человека? Впрочем, — и композитор об этом догадывался — здесь была и какая-то другая, непонятная простым смертным логика. Ведь поначалу

аскетами были Александр Македонский и тот же Цезарь, швед Карл XII и мощно постучавший кулаком в евронейские ворота русский царь Петр. Может быть, без такого аскетизма и не вырасти в крупного полководца, — лишь понимая, что тревожит каждую минуту на пути к смерти обычного солдата, можно мановением руки заставить полки идти в бой. А если это не так, люди могут попросту не понять жеста или послушаться команды...

— Сударь, не будете ли вы так любезны указать мне, как пройти к переправе?

Бетховен поначалу не понял, что вопрос обращен именно к нему. Кроме того, вид прохожего чем-то удивлял, хотя с первого взгляда трудно было определить, что же именно показалось странным в этом человеке. Мундир? Может быть. Он был немного похож на прусский, немного на австрийский, но все же не был ни тем и ни другим. Впрочем, композитор столько же знал о мундирах, сколько о пушках новейших образцов, а следовательно, почти ничего.

— Я сказал что-то не так? Вы меня не поняли? — спросил человек в мундире. — Мне надо отыскать переправу.

— К берегу, а затем — влево по тропе, — сказал Бетховен.

— Весьма благодарен. Желаю вам успехов в делах и личного благополучия.

И тут стало ясно, что удивляло в речи военного: он говорил неожиданно распевно, без жестких пауз между словами. Так обычно говорили итальянцы, уже в зрелом возрасте выучившиеся говорить по-немецки. Но, еще раз взглянув на мундир и треуголку, Бетховен догадался: русский. Как видно, в Вене начинается мода на все русское. Пора привыкать и к русским мундирам. Но как он возник на темной венской улице? Ведь полки Суворова еще не подошли. Может быть, один из адъютантов фельдмаршала или же офицер охраны?

И уже вслед Бетховен крикнул:

— Вы опоздали! После захода солнца переправа не действует.

— Но мне обязательно надо попасть на тот берег.

— Разве что вплавь.

— А если нанять лодку? У меня есть деньги.

— Вы не привыкли к нашему педантизму. Все лодочники сейчас на пути домой. И ничто их не заставит отступить от своих привычек: вечерний ужин с пивом и сон. Так или иначе вам придется дожидаться рассвета. Но скажите, как вы научились так говорить по-немецки?

— Вы поняли, что я не венец? Чувствуется акцент?

— Незначительный. — Бетховен склонил голову и жестом предложил русскому следовать за ним. — Я вам предо-

ставлю возможность отдохнуть до утра. Вы хорошо говорите по-немецки. Просто у меня чуткое ухо. Я — музыкант.

— Скрипач?

— Ну почему же если музыкант, то обязательно скрипач? Это все Страдивари виноват. Звук его скрипок будоражит чуткие души и навсегда пленяет. Любовь к скрипке — во многом любовь к гениальному мастеру. Но я пианист. И немного композитор. Идемте, идемте! Я впервые в жизни вижу русского, если не считать фельдмаршала Суворова и графа Разумовского. А то, что вы говорите по-немецки, для меня подарок судьбы. Живу я один. Недалеко отсюда. Моя домоправительница придет лишь утром.

— Но я должен сегодня же переправиться на ту сторону. Меня ждут.

— Хорошо, спустимся вместе к переправе и посмотрим, можно ли вам на что-то надеяться.

На пристани отыскали сторожа. Тот сказал, что лодчонки уже с полчаса как разошлись по домам. Сторож был стар, а желто-седые бакенбарды делали его совсем ветхозаветным. Поверх потертого пальто старик накинул шерстяное одеяло: ни дать ни взять озябший еж, нанизавший на иголки палые листья.

— Даже за миллион талеров! — развел руками сторож — жест, характерный для всех стариков на свете. — Ни за миллион, ни за два!

— Вот тебе, папаша, талер за стойкость перед звоном злата, — сказал Бетховен.

— Даром не беру! — отрезал перевозчик. — Доброй вам ночи, господа. А завтра приходите — мигом перевезем.

Возвратились в город. Трость Бетховена сухо отсчитывала шаги. Тридцатилетний Людвиг ван Бетховен не любил случайных знакомств. Причин на то у него хоть отбавляй: в юности пришлось немало наклоняться, чтобы завоевать право на независимость. Да и сейчас она была призрачной. Приходилось считаться с мнениями и вкусами слишком уж многих.

Дома Бетховен сбросил плащ и зажег свечу.

— Присаживайтесь у камина. Он еще теплый. Посмотрю, что моя экономка оставила на ужин.

Русский молча сел. Наверняка он был смущен, но вел себя неожиданно строго, с тем спокойствием, которое всегда отличает хорошо воспитанных людей. Свою треугольную шляпу он держал на коленях.

— Положите шляпу на рояль, — сказал Бетховен, разжигая спиртовку. — Предки моей экономки родом из Венгрии. А потому и неизменный гуляш: утром, днем и вечером. Она считает, что ни один настоящий мужчина не должен отказывать себе в куске мяса, и твердит, будто итальянцы довели свою страну до раздробленности и унижений лишь